

Александр Миронов



повесть

Александр Миронов

Уроки рисования. Повесть

«Издательские решения»

Миронов А.

Уроки рисования. Повесть / А. Миронов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-852092-1

Действие происходит в Сибири, в маленьком городке Тайга (Кемеровская обл.), в период «Хрущевской оттепели», когда Сталинские репрессии ещё живы в памяти, а в наступившие послабления однако не верилось. Повесть о том, как психологически люди переживали этот период. И как этот период проходил в школе. Повесть была опубликована в ж-ле «Роман-журнал XXI век», — 2006 г. №5.

ISBN 978-5-44-852092-1

© Миронов А.
© Издательские решения

Содержание

Эпилог	6
1	9
2	14
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Уроки рисования Повесть

Александр Миронов

© Александр Миронов, 2017

ISBN 978-5-4485-2092-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Эпилог

*Моей матери,
Ольге Яковлевне*

Внучка в свои три года начала просить меня:

– Дедушка, нарисуй мне косеську или собаську (то есть – кошечку, собачку) ... Нарисуй мне лечку (речку). И чтобы по ней плавали уточки... – Иногда просила нарисовать ей человечков.

И я выполнял её просьбу – рисовал. Но как это всё получалось – смешно смотреть. Однако ей нравилось. Даже пыталась перерисовывать что-то с этих «шедевров». А то и сама что-нибудь к ним пририсует. Занятие для неё, похоже, не обременительное. И я, поглядывая на её рисунки, ловил себя на мысли, что есть в этом маленьком человечке зернышко таланта. Ей три года, а рисует на уровне, пожалуй, пятилетнего ребёнка, а то и старше. Схватывает какие-то формы, пусть даже фантастических существ, но они получаются у неё всё-таки образными, понятными.

Я, разумеется, похваливал её старания, что-то подправлял в рисунках моей маленькой художницы. Но рисовал едва ли лучше ребёнка. Потому как талант мой давно уж рассеян и потерян. Ведь талант как таковой, сам по себе не может быть величиной постоянной, его может даже и не быть. Но стоит душе настроиться, отчего-то возгореться однажды, и он начнёт проявляться. А там уж всё зависит оттого, как мы встретим его, и как будем развивать дальше, и в каких условиях он будет шлифоваться. Иногда ему нужна мудрая рука родителя, наставника, и он разовьётся. А иногда... достаточно какого-нибудь незначительного случая, даже намёка достаточно, чтобы этот талант загубить, срубить тот душевный расточек.

Я вот, например, знаю одного человека, который любит петь. Но не поёт. В детстве её раз одернули – сфальшивила девочка по неопытности мелодию песенки – и всё, замкнулся маленький человечек. И умерла её песенка. А голос у этой женщины лиричный, мягкий, и душа в ней широкая. Чуть бы ей в ту пору подсказать, да в более мягких тонах или интонациях и, глядишь, была бы ещё одна Людмила Зыкина, или Ирина Архипова.

Вот примерно такое же произошло когда-то и с моей дочерью. Дочь начала рисовать тоже рано. Но тогда я ей не помогал. И вообще, избегал с ней данных упражнений, отговаривался, слагаясь на занятость и прочие причины. Однако, тем не менее, прогресс в рисовании у неё наблюдался. Вначале она рисовала так же, как её дочь сейчас. Со временем – лучше. Потом, когда родился братик, она рисовала для него. И ему не приходилось в её рисунках разгадывать, что на них изображено: человек, лошадь, дом ли, – не в пример некоторым художникам, которые, дожив до глубоких сединок, всё ещё рисуют каких-то уродцев, оправдывая свои творения детским мировосприятием. Дескать, дети именно так видят мир их окружающий. Мол, незачем нагружать их изысками, чёткими формами, совершенством. Палка, палка, огуречик – вот и вышел человечек...

Но, чем старше становишься, тем чаще встречаешь людей, отношение к искусству которых так и остается на уровне детского восприятия – поверхностным, неглубоким. И, к сожалению, в изобразительном искусстве эта тенденция доминирует. Не отсюда ли отношение отдельных к окружающему миру, осознание его и их бездушие? Воспринимают мир утрированно, абстрактно, не испытывая к той же природе душевного трепета, а к человеку – любви, к ценности его жизни.

Так вот, что касается моей дочери, в ней замечен был прогресс, и в рисунках наблюдались осмысленность, изображения близкие к реальности. Уже к школе она умела рисовать и надо признать – неплохо. Но, как говорится, рисуют дети – пусть забавляются. Однако дочь

настолько тогда осмелела в своём художественном творчестве, что замахивалась на более сложные сюжеты и даже портреты: матери, отца, бабушки, дедушки. Словом, она не стояла на месте, развивалась её творческая индивидуальность.

От неё вирусом творчества был заражён и братик, а может быть, он с этим зернышком и родился, и попало оно на благодатную почву. Подрастая, он следовал за сестрой, подражал ей в тех упражнениях. Но над ними какого-либо руководства, поощрения, тем более наизидания не было. И если бы их немного поддержать, поощрять бы в то время, а лучше – отдать в какой-нибудь кружок, или же в изостудию, то, кто знает, быть может, из них получилось бы что-нибудь, в смысле – мастеров карандаша и кисти. Но в моей натуре ничего подобного не проявлялось.

Наоборот, я отстранялся. Я не стремился потакать их способностям, если не сказать хуже. И моё внешнее безразличие, разумеется, сказалось на их дальнейшей судьбе, и потому, пройдя обязательную увлечённость к рисованию, они пошли по другому жизненному пути, избрав далеко не творческие специальности. Хотя дочь, уже для своей дочери, рисует эскизы на белой бумаге и, надо сказать, не бездарно, но на уровне дилетантском.

На протяжении двух-трёх лет, глядя на рисунки внуки, я с грустью вынужден был констатировать: и у этой пигалицы устойчивая тяга к рисованию! И не просто абы что, и абы как...

Вот взять хотя бы сегодняшний рисунок. Ну, чем не произведение искусства! В пять лет и так рисовать – откуда это? И откуда вообще в нашем роду (начинаю отсчёт от себя, поскольку всех предшествующих родственников отца и деда с прадедами я не знаю, тем более об их способностях) сидит тяга к искусству, этот расточек, который уже третье поколение пытается в нас вырастить в нечто оригинальное, талантливое? И который я умышленно подавляю и заглушаю.

Давно известно, что дедушки и бабушки сильнее любят своих внуков, чем детей. Быть может, это происходит из-за призабывшегося чувства нежности к своему первому родному существу за долгие годы его взросления. Душа обновляется с внуками.

И сейчас, глядя на маленького человечка, склонившегося над листом бумаги, у меня в душе возникает какое-то странное чувство похожее то ли на раскаяние перед её матерью, то ли перед собой. Теперь смотрю на способности внуки более терпимо, даже готов, кажется, на содействие. И потому, наверное, буду ей потворствовать, и на этот раз постараюсь отдать её в изостудию, и оплачивать эти занятия. (А когда-то, даже бесплатно не хотел обучать дочь и сына.) Видимо, тут как раз и проявляются качества, определяющие отношения родителей с детьми и с внуками, то, что не было позволено первым, позволено нами их чадам. Они, эти чувства, и смягчают во мне былую принципиальность, которая некогда затаилась в сознании и в душе пополам с горечью, что почерпнута мною в детстве от пережитого разочарования и обиды.

И если в молодости моё поведение можно было воспринять за эгоизм, то в зрелом возрасте под давлением новых чувств начинаю испытывать даже какую-то вину, что вот, из-за какого-то недоразумения, отрицательно повлиявшего когда-то на тебя, ты не правильно поступил по отношению и к своим детям. Быть может, у них по-иному сложились бы их судьбы, возможно, интереснее, увлекательнее и содержательнее, нежели, чем теперь. Хотя они меня ни в чём не упрекают, не жалуются на жизнь, и мы обходимся без взаимных упрёков. Скорее это потому, что они не ведают о скрытой во мне тайне. Мне всё время казалось, что достаточно было того, что когда-то я сам пережил с искусством.

С одной стороны я не испытываю в себе раскаяния перед детьми, а с другой...

С другой стороны, глядя на внуку, закусившую губку, чувствую смятение, и всё чаще ловлю себя на вопросе: а прав ли я? По себе знаю, талант сам по себе – слабое зёрнышко. Его обязательно надо возвращать, поддержать, особенно на начальном этапе его развития.

И, по возможности человечка, в ком оно зародилось, стараться оградить от отрицательных воздействий. Когда же характер в человеке сформируется, тогда уже трудно в нём загубить это росток. А если и загубится позже, то уже осознанно и им самим. Как когда-то сделал я сам с собой.

И, глядя сейчас на маленькую художницу, начинаю ловить себя на мысли, что я, кажется, снимаю табу, что наложил на себя отроком. Похоже, пришла пора. Хватит томиться самому, и томить близких.

1

...Когда-то я любил рисовать. И рисовал, как мне казалось, неплохо. По крайней мере, на школьных выставках меня не срывали (имею в виду – мои рисунки), а над шаржами в стенгазете – добродушно посмеивались. Разумеется, те, кого они не касались.

Я всегда испытывал внутренний подъём, неописуемое удовольствие, волнение, держа карандаш в руке. И даже, когда за свои карикатуры изредка я зарабатывал от «поклонников» тумачи, то и они не охлаживали моего пристрастия к рисованию. Что расквашенный нос? Синяк под глазом?.. Пустяки. Нет такой силы, которая могла бы отбить у меня тягу к рисованию, к карандашу, к альбому...

Помню, несказанной радостью для меня стало знакомство с Николаем Петровичем – настоящим художником! Просмотрев мои рисунки, он сказал:

– Ну, Беляев, быть тебе Суриковым! Но надо тебе, коллега, подучиться. Приходи ко мне в мастерскую...

Не трудно себе представить, что со мной в тот день происходил. Я был на седьмом небе, если существуют такие высоты на самом деле.

Однако, несмотря на успехи, я все-таки был малым скромным, и о своём знакомстве с художником сообщил (по секрету) одному лишь человеку в классе – Латыпову Генке, редактору нашей классной газеты. Единственный, с кем мы быстро сошлись, ещё в пятом классе, и стали друзьями. Наверное, этому способствовала наша общая творческая увлеченность: у меня – к рисованию, у него – к поэзии, к стихам. Писал он стихи классно, насколько я могу судить, но редко публиковал их в нашей газете, хотя чужие – с охотой. К тому же он был сильным и за своих коллег по газете мог заступиться. Может, поэтому я был так дерзок в своих художественных шалостях, в карикатурах, шаржах на своих одноклассников.

Мама моему увлечению радовалась и помогала, чем могла, выделяя мне денежку из своей небольшой зарплаты на краски, кисточки, карандаши и бумагу. В нашей маленькой квартирке, в бараке, где мы жили, у меня был свой уголок: стол, стул, и стены обклеенные репродукциями с картин известных художников и, конечно же, моими рисунками. В ту пору мне казалось, что они (рисунки) с таким же достоинством украшают скромную обитель своего хозяина.

Жил я от школы не очень далеко, но вставал рано, вместе с мамой по городскому гудку. Ей на работу к восьми, и пока дойдёт до своего «Дорстроя» из одного конца города до другого, у неё на это уходило не меньше часа. В половине седьмого выходила она, в семь, минут пятнадцать восьмого – я.

Учился я с половины девятого, в первую смену. Поэтому приходил в класс, всегда первым. Садился за парту, доставал блокнот и рисовал. Чаще всего шаржи на опаздывающих. Кого в виде огурца на мягкой грядке, кого – медведем на пуховых облаках... Оставалось подставить фамилию опоздавшего и – шарж готов! Не знаю, действовали они на моих одноклассников как воспитательная мера, но только тот, кто получал на себя «портрет» под смех одноклассников вчера, уже сам посмеивался над кем-нибудь из тех, кто опаздывал сегодня.

Однажды, в праздник 8-е Марта, мне пришлось дарить такой шарж самому себе. Ну, чего не бывает в жизни? Сам опоздал!

Мама ушла на работу так тихо, что я не услышал. Накануне я долго пробыл в мастерской у Николая Петровича. Вначале занимался какое-то время уборкой у него в квартире, или в мастерской, как он её называл. Потом рисовал. Поэтому пришёл домой поздно. А утром мама пожалела меня будить. Поставила будильник. Но он почему-то подвёл меня, а может, я так чутко спал, что не услышал его голоса. В результате – самому себе пришлось писать поздравление. А то как же? Всем так всем, и себе в том числе.

То, что я из-за своего увлечения опоздал на урок, это, конечно, не оправдание. И в душе, честно говоря, не очень-то переживал. Даже наоборот. Потому что день вчерашний прошёл не напрасно, а остальное – переживу.

А вечер у меня действительно был загружен. После уроков я побежал сразу же к Николаю Петровичу. Я ходил к нему на уроки рисования три раза в неделю. Когда художник имел время, то он кое-что показывал, объяснял, помогал мне постигать азы творчества, и я, как губка воду, впитывал в себя его науку. Когда же он был занят, то я заворожено следил за ним, сидя где-нибудь в сторонке, наблюдал, как из-под его кисти появлялись какие-то контуры, формы, а в целом – рисунок, картина. Для меня эти минуты, и даже часы становились необъяснимым перевоплощением. Мне казалось, что я проникал до такой степени в каждое движение художника, что погружался как будто бы в его мир, в его творческие фантазии, и мог заранее предугадать будущий штрих или мазок, что художник намеревался нанести на полотно. За короткое время я так сильно привязался к нему, что, пожалуй, роднее человека, конечно же, кроме мамы, для меня уже не существовало. Я для него по малейшей просьбе готов был на всё, на любое задание, на любую работу в мастерской, только он прикажи, и выполнял его просьбы с большим прилежанием.

То есть я был тем, кого в старину называли – подмастерье. И очень этим гордился.

Может быть, привязанность к нему объяснялась ещё тем, что рос я без отца. Отсутствие мужчин в семье: отца, деда, брата ли – с необъяснимой силой тянуло меня к мужчинам, и поэтому моя душа чутко отзывалась на любое их внимание.

Помню ещё до школы, где-то вначале пятидесятых годов, мне до того хотелось иметь отца, что я привёл домой солдата с проходившего мимо нашей станции военного эшелона. Солдат был высок, красив, силен, на погонах широкие красные ленты, Т-образно нашитые лычки (старшина), а на груди какие-то знаки отличия и даже медаль.

Поезд стоял долго, и мы, вездесущие пацанята, бегали по воинской площадке, просили у солдат звёздочки на наши кепки, панамки, пилотки – у кого они были, – и даже на тубетейки.

В то время с нами в бараках жило много татарских семей, переселенных в Сибирь откуда-то с западных областей и, кажется, с Крыма, и их национальный головной убор – тубетейка – лёгкая удобная шапочка подходила и к нашим белобрысым головам.

Значки и звёздочки нам давали за частушки с пляской, за песни, за стишки, одним словом, мы честно зарабатывали свой гонорар и, ох, как гордились этими подарками. Солдаты Советской Армии тогда, в послевоенные годы, в нашем сознании, в наших глазах сызмальства являлись олицетворением доблести, чести, воплощение мужества, и иметь при себе любой воинский значок – вызывало в нас необычайную гордость. Мы любили солдат, тянулись к ним и, кажется, они нам отвечали тем же. Быть может, поэтому в наших импровизированных концертах солдаты зачастую сами принимали участие, доставали свои гармошки, пели и плясали с нами.

И однажды, один из них, старшина и мой несостоявшийся отец, после душевной военной песенки «Землянка», которую я спел, взял меня на руки и прижал к себе так крепко, что во мне даже что-то хрустнуло. В этот момент я, как листочек, весь задрожал и прилип к нему. Слезы выступили на глазах, и вся воинская площадка с солдатами и с пацанятами на ней закипела в едучем мареве.

Солдаты, стоявшие с нами рядом, смеялись, называя старшину, кажется, Семёнычем.

– Семёныч, – говорили они, – возьмём пацанёнка в сынки, сыном полка? Ладный паренёк и поёт хорошо.

Семёныч гладил меня по голове и выпрашивал, есть ли у меня мать-отец. А потом повёл меня к нам домой.

Барак, где мы тогда жили в сибирском городке Тайга, был большой, многонациональный и многодетный. Мои дружки бежали впереди нас и кричали на всю улицу:

– Вовка отца нашёл! Вовка отца ведёт!..

Люди останавливались и с интересом смотрели на нас. Я шёл, крепко держась за широкую ладонь, и от счастья сиял, наверное, как начищенный самовар. Семёныч глядел на меня сверху и тоже улыбался.

Маму мы застали врасплох. Она что-то шила на швейной машинке, которую недавно в рассрочку приобрела у кого-то с рук. Мы ввалили в квартирку с шумом, и я, прямо с порога, бухнул:

– Мамка, я папку привёл!

Мама смотрела на нас широко раскрытыми глазами. Лицо её вначале побледнело, затем покраснело. Она настолько, видимо, растерялась, что не могла сразу сообразить, что к чему, сидела, не стронувшись с места.

Мне же такая медлительность матери была непонятной и я, подбежав к ней, стал тереть её за плечо, за руку.

– Папка, папка это! Я его в поезде нашёл! Вставай!..

Мама, наконец, поднялась. Дрожащими руками убрала с колен материал и с запинкой сказала:

– Извините... Так всё неожиданно... Проходите.

Она показала на табурет, стоявший с другой стороны кухонного столика, на котором она только что шила.

Семёныч, войдя в квартиру, поздоровался. На приглашение мамы согласно кивнул, оглядываясь, сел, сняв с головы фуражку с чёрным околышком. Я бойко устроился на его коленях.

Мама унесла машинку в спальню, которую отгораживала от кухни дощатая перегородка, вышла оттуда, несколько оправившись от волнения. Смущённо улыбнулась нам и подошла к кирпичной печи, намереваясь подтопить её. Пододвинула на кружок чайник.

– Вы, пожалуйста, не хлопочите. Я на минутку, – сказал Семёныч. – Вот Вовика проводил. Папка да папка...

Мама понимающе кивала головой, глаза у неё блестели.

Я не мог насытиться табачным запахом, которым Семёныч, казалось, был весь пропитан. Его густые русые усы завивались кончиками вверх, и он время от времени, от смущения, наверное, подкручивал их, глаза добрые, улыбочивые. Он разрешил мне потрогать его значки, медаль, и маленькие «танчики» на погонах. Его фуражка накрыла мою голову вместе с ушами и глазами, с которых я постоянно её поддевал рукой. Она была тёплой и пахла потом. В ней я и выскочил на улицу хвастаться перед пацанами.

Когда я вернулся, Семёныч прощался с мамой.

– Вы уж простите. Пришли, переполошили... А сынок у вас добрый малый и поёт хорошо, – и добавил: – Отца ему не хватает.

Тетя Зоя Русанова, наша соседка, отвечала за маму:

– Так, где ж его взять? Путных нет, а пьяниц нам не надо. Только дитё портить.

Я стоял у дверного косяка и никак не мог понять, почему мой отец, которого я так долго ждал и искал, уходит от нас? Я пялил на него недоуменно глаза, и слёзы начали подкатывать к уголкам век, пощипывать их.

Семёныч пожал руку тете Зои. Потом маме.

– До свидания, хозяйюшка. Извините... Кажется, я поступил опрометчиво. Вы уж не обессудьте. Успокойте тут мальчика...

Он обернулся и увидел меня. Подошёл и, присев передо мной на корточки, легонько шлёпнул по моим оттопыренным губам пальцем. Они брынькнули.

– Ну что ты, Вовчик, надулся? – поправил на моей голове свою фуражку и подмигнул. – Служить мне надо, вот, брат, какое дело. Ты уже вон какой brave солдат, понять должен.

Я проглотил подступивший к горлу комок, и слёзы мои как будто бы отступили.

«Действительно, он ведь на службе. Ему служить надо, защищать Родину нашу Советскую», – подумал я здраво, по-мужски.

Проводил я Семёныча до эшелона и долго махал ему рукой вслед. Я плакал, но сдержано, с полным осознанием того, что иначе отец поступить не мог. И испытывал гордость за него.

Фуражка скатывалась мне на глаза, и я придерживал её рукой. Долго она потом напоминала мне о человеке, который остался в моей памяти добрым, весёлым и честным.

...До Николая Петровича я больше ни в кого так не влюблялся. Да и отец ведь не каждый день нужен. Только тогда, когда в нём возникает необходимость: подшить валенок, починить стул или стол, да и то, я это уже сам умею делать, на «трудах» научился. А в остальном – какая в нём надобность? Правда, соседа моего Вольку, которого мы прозвали Новенький (они недавно к нам в барак заселились) отец, как по расписанию, два раза в неделю порол ремнём, – дурь «состругивал», как он пояснял. Тут уж кому как, а мы уж и так уж как-нибудь, без ременной «каши» обойдемся, без отеческой ласки. Всё равно эта наука с него ничего не «состругивала», и учился он так себе, хуже моего. Но у меня по другой причине, не по вредности и тупости.

Знакомство с Николаем Петровичем подействовало на меня столь же обворожительно, как когда-то к Семёнычу. Но с возрастом я стал сдержаннее и не спешил вести художника к нам в гости, хотя маму заочно познакомил с ним и тайно очень надеялся, что она сама заинтересуется им и попросит их познакомить. Николай Петрович не был женат и, может быть, двумя годами был моложе мамы. Но какое это имеет значение? Из-за его чёрной густой бороды и усов ему не только тридцать, а все сорок дашь. Мама рядом с ним была бы, что берёзка с кедром.

На такой поступок, как я когда-то учудил с солдатом, у меня не хватало решимости ещё и вот почему. После ухода Семёныча мама была сильно расстроена. Её красивое, всегда живое лицо от слёз опухло, глаза потемнели, губы обиженно поджимались. Она плакала, прижимала меня к себе, целовала, заглядывала мне в глаза и уговаривала называть её папкой, если мне вдруг так захочется. Я смеялся, представляя её усатой, пропахшей табаком, и соглашался. Я тоже плакал и очень жалел маму. Наверное, из сочувствия к её одиночеству. И, может быть, с того дня я начал взрослеть. Я уже не торопился со знакомством, на сватовство мамы с понравившимся мне мужчиной. Да и такого на горизонте как будто бы не появлялось.

Теперь же – есть такой человек. Николай Петрович, казалось, перекрывал все достоинства Семёныча – он был художником!

Я ждал случая.

Мама радовалась за меня и благодарила ей незнакомого Николая Петровича, хорошего человека, а меня же просила лишь об одном: чтобы я его слушался и учился. Смешная, я и без того, находясь в мастерской своего кумира, был, что называется, ниже травы и тише воды. Вбирал в себя его науку со страстной жадой. Так что наставлять и заставлять меня учиться – только дело портить. Это не школа. Да будь моя воля, я бы и в школу не ходил, всё бы время посвящал этому занятию, и с удовольствием.

За полугодовое знакомство с Николаем Петровичем я стал увереннее владеть карандашом, и даже кое-что научился рисовать красками, акварелью – это больше касалось пейзажных работ. И, естественно, засиживался у мастера до тех пор, пока он сам не выпроваживал меня или я, спохватившись, не покидал мастерскую.

Он жил в центре города, недалеко от зеленого магазина, у базара, и потому ходить в столь поздний час по улицам было небезопасно, поскольку случались страшные происшествия: грабежи, воровство и даже убийства. Дядя Толя, наш сосед, бывший фронтовик, все ругал Лаврентия Павловича Берию: амнистировал, дескать, головорезов, теперь житья от них нет... Зачем это ему понадобилось? – мало кто знал в ту пору, а мы и подавно.

Но что ночь! Что страх! Я бежал домой, едва ли не пританцовывая, не боясь никого, забыв обо всём, в том числе и про уроки – они делались наспех и в основном письменно, устные – в школе, если удавалось. Но, благодаря, как видно, хорошей памяти, середнячком я был твёрдым, правда, по письменному русскому едва-едва тащился на тройках. И то благодаря, наверно, Марте Аполловне. (Так мы, сокращая отчество, – Аполлоновна – называли свою классную руководительницу.)

И ещё. Мои поздние возвращения очень беспокоили маму. Доводили до слёз. И я всякий раз обещал ей не задерживаться допоздна. Но проходило время, и я невольно нарушал своё обещание. В мастерской забывал обо всём напрочь.

Моё опоздание в школу как раз и было связано с этим. И произошло оно, как я уже говорил, на 8-е Марта. Я заканчивал маме подарок, что замыслил задолго до праздника.

Подобрать тему для картинки, мне помогал Николай Петрович, советовал, и даже кое-что подправлял в моём творении. Помню, рисовал я тогда море с белым парусом вдали – по Лермонтовской элегии «Белый парус». По тем теперь уже далеким временам – модная тема. По мнению учителя, картинка у меня получилась неплохая. И поскольку домой я пришёл опять поздно, она послужила мне и оправданием. Мама была рада такому вниманию к ней, и благодарила за подарок и меня и Николая Петровича. А я не скупился на эпитеты в адрес своего кумира, желая возбудить у неё интерес к нему. Потом я сел делать уроки. А утром подскочил как ужаленный в половине девятого! Тогда-то у меня и появился шарж на самого себя.

И все-таки, удивительное это состояние – увлеченность! На грани двух противоположностей: озарения и затмения. И хорошо, когда рядом есть добрый наставник, родственная душа, друг, в которого ты поверил и полюбил.

2

Однажды, уже в конце апреля, придя в школу как всегда первым и, бросив портфель на парту, я достал блокнотик. Сейчас что-нибудь изобразим...

В раздумчивости я откинулся на спинку парты и возвёл глаза к потолку, надеясь «снять» с него какие-нибудь замысловатенькие сюжеты. Но что-то в это утро они не проявлялись на побелке, и мой взгляд, блуждающе пробежал дальше, до стены напротив, до классной доски, над которой висели портреты Карла Маркса и Фридриха Энгельса, и... не поверил собственным глазам. На месте портретов вождей прибывали портреты полководцев гражданской войны, Буденного и Ворошилова. Нет, портреты были те же самые, но только кто-то красивую бороду Карла Маркса закрасил мелом и мелом же нарисовал пышные усы Буденного. То же проделали и с портретом Энгельса, из которого пытались, видимо, изобразить Ворошилова. Получилось довольно-таки забавно. Я рассмеялся... Но ненадолго.

Меня как будто бы кто-то ущипнул из-под низу, и моя улыбка скисла. Я растерянно стал оглядываться, как бы ища обидчика и разъяснений, но в классе никого не было, да и в школе, наверное, кроме уборщицы. Тут на меня с чего-то стал накатывать страх, и я заёрзал на скамье, готовый убежать и вернуться в класс с заметным опозданием. Ведь могут подумать на меня! Я прихожу в класс раньше всех. Я рисую. Я шаржирую. Я... Я... Тысячу раз я! Докажи, что не ты упражняешься и на портретах!..

Я по-настоящему заволновался: что делать?.. И на ум мне (словно опять кто-то ущипнул!) пришла спасительная и, как показалось, безобидная мысль – стереть с портретов мел!

Я метнулся к учительскому столу. Подтащил его к классной доске и, запрыгнув на него, стал лихорадочно стирать с портретов мел. Тряпка, которой вытираем доску, за ночь высохла и плохо стирала. Чертыхнувшись, я соскочил со стола и побежал в коридор к питьевому бочку.

Тогда в школе ещё не было водопроводных кранов. В коридорах на двух этажах и по несколько штук стояли бочки с питьевой водой. К ним были прикованы на цепочках металлические кружки, и ведра стояли под краниками. Процедура затирания чужих следов хулиганства не заняла и десяти минут, поэтому, когда пришли одноклассники, я уже сидел на своём месте и, как ни в чём не бывало, что-то чертил в блокноте.

Начался урок. Анна Павловна, учительница зоологии, женщина лет двадцати семи, высокая, грузная и меланхоличная, даже как будто сонная. Глаза глубоко посажены в глазницах и какие-то бесцветные, вернее, как помнится, они были серыми, но как будто бы под какой-то пеленой, как у спящей птицы.

В школе её прозывали Тритоном. То ли из-за предмета, который она вела; то ли из-за отрешенного, как замороженного, вида во время уроков, к тому же она имела привычку снимать с ног туфли, и обтянутые капроном большие ступни ног медленно, как лапы земноводного, шевелились под столом. То ли это прозвище отражало её внушительный вес, конечно, три тонны надо понимать не в буквальном смысле, но когда она двигалась по школе, то деревянный пол под ней прогибался и скрипел. Не выглядывая из класса, можно было догадаться, кто прошёл по коридору. Так или иначе, но прозвище, на мой взгляд, дали ей меткое.

Анна Павловна вошла в класс. Не дожидаясь, когда мы утихнем, кивнула головой на приветствие, которое мы выразили коллективным вставанием, и села за учительский стол. Раскрыла классный журнал и учебник. Она не приглашала к доске добровольцев, а вызывала сама. Пробегая глазами по журналу, учительница отыскивала нужную ей фамилию, в то же время, снимая с ног туфли. Не изменила она своей привычке и на этот раз.

– О-бу-хов, – прочитала Анна Павловна по слогам.

Класс облегченно вздохнул, а вызванный неохотно поднялся. Его подталкивали сзади и в шутку подбадривали: давай, давай!..

К уроку зоологии не все относились добросовестно, считали этот предмет не столь важным что ли, и на уроке больше отсиживали, точнее, отыгрывали его, кто во что: в города, в «морской бой», и даже в карты. Но зато во время ответа кого-либо активность в классе возрастала. Со всех сторон к отвечающему сыпались подсказки, и порой даже целые предложения из учебника.

Толя Обухов был не вредным, безобидным пацаном, с ним можно было водиться, и из-за золотухи глуховат, в ушах у него постоянно были ватные тампоны, или по-теперешнему – бируши. По этой причине попадал он во всякие нелепые случаи на уроках. Почти всё, что ему подсказывали во время ответов у доски, пролетало мимо его ушей, и Толька напряженно крутил рыжей головой, ловя звуковые сигналы. Иногда, улавливая одну подсказку, он лепил её с другой, отчего получался каламбур, который веселил весь класс.

Этого ожидали и на сей раз.

Толя, выходя из-за парты, уже крутил головой, как бы настраивая лопухи на звуковые волны. И останавливался на середине между первой партой и классной доской, а то и ближе к партам.

Получив вопрос от Анны Павловны, он, как великомученик, болезненно поморщился и зачесал затылок. Произнося:

– Пресмыкающиеся... Пресмыкающиеся... это... животные, которые... которые... Анька! Ну, што там? – Толя тянулся к девочке, сидевшей за первой партой, к уху приложив ладонь, сложенную раковиной.

Лицо его вытянулось.

Аня добросовестно вычитывала из учебника нужный ответ, а он не слышал:

– Пресмыкающиеся... млекопитающие... летающие. Ну, што там?

Класс погружался в змеиное шипение.

– Ящерицы при опасности отделяют хвосты... – шептала Аня.

Толя смело повторял:

– Ящерицы поедают кусты!

– Да не кусты! Хвосты от-де-ля-ют, глухня!

Аня приподнимается и дергает себя за косу. Толя понимает и поправляется.

– Пресмыкающиеся при опасности, это... прячут головы под хвосты.

Толе ответ нравится, и он победно поворачивает голову к преподавателю. Вид у Анны Павловны непроницаемый, отсутствующий. Но это не означает, что она не оценит ответ ученика. И Толя это знает, у него уже есть одна двойка, и потому он старается вытянуть на трояк.

– В класс пресмыкающихся входят эти... Анька?

– Ящерицы, хамелеоны, вараны, – шепчет девочка.

Толя поворачивался к классу то одним ухом, то другим и, уловив информацию, вновь выдавал:

– К ним в класс входят, эти... э-э ящерицы, бараны...

Класс содрогается от нового приступа смеха, только уже громкого. Анна Павловна поднимает голову и внимательно смотрит на отвечающего.

– Так в какой класс входят бараны? – спрашивает она.

– Так, э-э, в этот... – чешет за ухом Толя.

Анна Павловна соглашается с ним и кивает головой.

– Оно и видно. В шестой «б».

Толя, поняв, что ляпнул что-то не то, тушуетсся, краснеет.

– Толька! За твой ответ даже Карла Маркс и Фридрих Энгельс побледнели! – вдруг раздаётся звонкий голос Олега Баранцева. – Ты глянь!

Толька заворачивает голову в сторону вверх, а вместе с ним устремляют взоры и остальные тридцать пар глаз.

Я метнул взгляд на портреты и обмер: ни фиги себе!.. Вот это фокус!..

Я, наверное, побледнел не меньше этих портретов и обхватил голову руками.

Из оцепенения меня вывел звонкий шлепок голой ступни. Анна Павловна выскочила из-за стола и возмущенно, едва ли не голосом Левитана¹, спросила:

– Это что такое?! – при этом притопнула ногой.

Класс хохотнул и тут же притих. Анна Павловна, опомнившись, вернулась к столу, ногой достала из-под него туфли и обулась.

– Спрашиваю, кто это сделал?

Её глаза, вечно окутанные туманной поволокой, казалось, вспыхнули, рассыпая искры. Взгляда этого никто не выдерживал, и потому все сидели, опустив головы.

Учительница с полминуты терпеливо выждала, потом скомандовала:

– Встать!

Класс, захлопав откидными крышками парт, дружно поднялся.

– Не-ет, это вам даром не пройдёт. Я обещаю! – сказала Анна Павловна – До какого вандализма дошли. Кто? – я спрашиваю... До тех пор, пока этот пакос-сник не объявится... я урок не начну! А ты, Обухов, иди, – вспомнила она про ученика.

Толя направился к своей парте.

– Нет, не туда, – остановила его учительница. – За директором! – и указала на двери.

Меня как будто опять кто-то ущипнул.

– Анна Павловна! Не надо д-директора, – проговорил я.

Класс повернулся ко мне.

Олег Баранцев, сидевший, а теперь стоявший сзади, ткнул меня кулаком.

– Молчи! – прошипел он.

Мне не было больно, но его толчок встряхнул меня, я опомнился, и растерялся.

– И что же ты нам хочешь сообщить, Беляев? – спросила мягким голосом Анна Павловна, от которого по спине пробежали мурашки. – Ты их измазал?..

Я тряхнул головой и тут же отрицательно закрутил ею.

Баранцев хохотнул:

– Ну, даёт! Юмористы эти шаржисты! – и добавил: – Враги народа.

Ему от меня не раз доставалось. Он был едва ли ни постоянным героем моих шаржей. Теперь отыгрывается.

Анна Павловна усмехнулась, видимо, соглашаясь с ним.

– Ладно, садитесь, – сказала она классу.

Она вернулась к столу и стала усаживаться – спинка стула под ней надсадно скрипнула.

– Анна Павловна, – подал голос Латыпов, – что-то непонятно. Пусть Беляев объяснит, что всё-таки произошло? Зачем он это?..

Я было сорвался с места. Я только что сел, точнее упал, как подкошенный на лавку парты. Но учительница упредила моё намерение.

– Потом разбираться будем, – отмахнулась она. – И так пятнадцать минут потеряли. А ты, Обухов, что у двери застыл? Иди на место, садись.

¹ Юрий Борисович Левитан – диктор Всесоюзного радио, Государственного комитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.